

А. М. ПАНФИЛОВ

Охота моя к услужению обществу...»

Герард Фридрих Миллер — человек и ученый

Можно только удивляться, насколько же прилипчивыми оказываются «устоявшиеся» в бытовом сознании исторические оценки, касающиеся тех или иных реальных явлений — будь то какое-то событие или яркая личность. И удивление всегда перемешано с горечью, потому что оценки эти неузнаваемо искажают живую жизнь, напрочь изгоняя из нее то, что, собственно, и описывается эпитетом «живая». Это всегда связано с идеологией — всякая идеология пишет историю под себя. А вода ведь камень точит. Повторенное тысячу раз слово становится стереотипом. Со стереотипами дело иметь легче — все разложено по полочкам, и кубики складываются в некую красивую конструкцию. То, что эта конструкция не более чем теоретический заменитель живого, уже никого, кажется, не тревожит: главное, чтобы подобие логики было сохранено. Живая жизнь заменяется исторической схемой, которая всех устраивает. А те мгновения, когда вдруг ощущаешь невыносимую фальшь этих построений, похожих на натуральное убийство живого, — это же всего лишь мгновения, не сравнимые по длительности и «важности» с часами, сутками, годами нашего инерционного существования, которое для нас вне удобных схем и не вызывающих сомнений «законов» немислимо. Ужасно все это...

Но вступление, кажется, затягивается и облекается в подозрительный пафос. Пора переходить на персоналии. Речь, собственно, идет о русском историке Герарде Фридрихе Миллере (в России его при жизни еще величали Федором Ивановичем — забавны все-таки эти языковые кальки). Он не избежал описанной участи. Потому-то и столь двусмысленно его положение в истории отечественной науки. Да, вроде бы известный историк, чьи заслуги неоспоримы. Сделал первую попытку (и не вовсе безуспешную) создания фундаментальной истории России. Сформулировал важнейшие методологические вопросы. Оставил после себя стройную систему правильного историческо-

го поиска, которой пользовалось не одно поколение исследователей. «Отец сибирской истории». Громко заявил о себе в ряде смежных научных дисциплин. И так далее. Но вместе с тем — все-таки «немец», «чужестранец». И еще не очень симпатичное эхо: в некотором роде — «недоброхот», «хулиатель», «очернитель». Образ двойся, но неискушенное ухо улавливает, по большей части, последнее. Срабатывает тот самый невыносимый стереотип.

Корни такого отношения к Миллеру обнаружить нетрудно. Они протягиваются к полемике вокруг его «норманской» теории, к истории вражды с Ломоносовым. Чтобы больше не возвращаться к этой давно «заболтанной» проблеме, остановимся сразу же на ней и попытаемся расставить точные акценты.

В 1749 году «серый кардинал» императорской Академии Шумахер предложил Миллеру и Ломоносову подготовить речи для произнесения их в торжественном ученом собрании. Мотивировка выбора первого оратора любопытна и показательна



*Собрание Истории
представившее
Верное описание
всехъ въ Европѣ оныхъ убогихъ противъ
уши и дѣла,
съ нѣзаконнаго, нѣкъ еще разнѣмъ вѣрѣ
натурѣю обладаемо было,
а наипаче о вѣрѣмъ діатолупуною северуа
Сибирѣи вѣрѣмъ Россійскимъ Имперѣи
по сіи вѣрѣмъ.*

*Сознана
Герардомъ Фридрихомъ Миллеромъ*

Образец почерка Г. Ф. Миллера

(штрихи к характеру Миллера): «У него, — объяснял Шумахер, — довольно хорошее русское произношение, громкий голос и присутствие духа, очень близкое к нахальству». Миллер, всегда трепетно относившийся к своим обязанностям, сочинил латинскую речь «О происхождении народа и имени руссов», где и обозначил краугольные камни так называемой «норманской» теории. Она достаточно хорошо известна. И сегодня совершенно очевидно: это не опыт из области фантастики, не откровенное «переписывание» истории, а аргументированная историческая версия, требующая спокойного обсуждения. Но то, что последовало вслед за написанием этой «диссертации», на таковое обсуждение походило менее всего. Как дипломатически пишет сам Миллер: «Сие сочинение было определено для прочтения в публичном академическом собрании, но по особливому происшествию учинилось в том препятствие, и сие сочинение не обнародовано».

Что же это за «особливое происшествие»? А то, что в «диссертации» Миллера углядели хулу на Россию. Устроили «расследовательное» заседание академического совета с повесткой дня: что «диссертация» Миллера заключает предосудительного для российского народа? Ответ на вопрос мы можем найти в отчете о заседании. Цитирую (все время хочется «долго» цитировать документы того времени — в их ритме, слоге, всем эпическом контексте словно пробивается к нам когда-то клокопавшая жизнь, кажущаяся нам давно превратившейся в каменный памятник): «В поданных мнениях господ профессоров некоторые показали, что за незнанием российского языка и истории подлинно о диссертации рассуждать не могут; другие написали, что кое-что следует из диссертации выключить; только профессор Тредиаковский рассудил о диссертации, что вероятно; Ломоносов же, Крашени-

ников и Попов считают ее предосудительною для русского народа, в чем и члены канцелярии академической с ними согласны. Следует в таком деле предпочесть мнение природных россиян мнению членов иностранных, и так как по указу Петра Великого велено дела решать по большинству голосов, то диссертация и запрещается».

Научный спор? Как бы не так. От научного спора в этой истории лишь самая малость. Более важную роль тут играют два нюанса.

Первый. Ко времени появления на свет Божий «диссертации» Миллера изначально холодные отношения между Ломоносовым и Миллером переросли в настоящую вражду. А причина-то тому банальна. Миллер, как человек пунктуальный и приверженный к субординации (ну конечно же, его немецкое происхождение со счетов списывать нельзя; «национальный тип» — не пустое изобретение), всегда считал, что к званию академика следует относиться уважительно, ибо оно есть вершина академической лестницы. Другими словами, если ты студент, то уважай и слушайся адъюнкта; если адъюнкт, то уважай и слушайся профессора и академика. Иначе настанут разруха, хаос и анархия, и ни о какой созидательной деятельности мечтать тогда не придется. Ломоносов же, со своей широтой и ироническим отношением к авторитетам (если он их считал дутыми), эту иерархию в грош ломаный не ставил. Присутствие Миллера в академических собраниях по возвращении его в 1743 году из Сибири уже на пятый (!) день ознаменовалось решением не допускать далее адъюнкта Ломоносова в академические заседания.

На имя императрицы было отправлено ходатайство «в показанном нам от Ломоносова несносном бесчестии и неслыханном ругательстве повелеть учинить надлежащую праведную сатисфакцию». Возникшая таким образом между двумя учеными трещина далее лишь разрасталась, превратившись со временем в совсем уж фатальную пропасть. Вот откуда известное мнение Ломоносова о том, что в произведениях Миллера «множество пустоши и нередко досадительной и для России предосудительной»; что он «в сочинениях всевает по обычаю своему занозливые речи, более всего высматривает пятна на одежде русского тела, проходя многие истинные ее украшения».

А мнение Ломоносова (пусть и двухвековой давности!) в нашем отечестве сродни истине в последней инстанции. Мы ведь относимся к Ломоносову не просто как к великому ученому, а как к великому





русско-му ученому, первому русскому ученому, и этим все сказано. У нас вообще есть набор «священных коров», которых лучше не трогать. Но ситуация, когда мироощущение строится на подобном наборе, крайне неприятна, потому что она более свидетельствует о комплексах неполноценности, чем о заслугах. Народа, например...

Но Ломоносов был живым человеком — гениальным, энергичным, красивым и очень противоречивым. Понятно, что между ним и Миллером возник прежде всего психологический конфликт. Такие конфликты между неординарными людьми мы наблюдаем в человеческой истории часто. Двум крупным личностям всегда тесно рядом: они не склонны к спокойному приятию чужой точки зрения, они не гибки, не удобны в повседневном общении, они отличаются изрядной самооценкой. И это нельзя относить к недостаткам. Это — необходимые условия, при которых только и возможна высокая работа на будущее. Другое дело, что потомки выстраивают из истории красивое «кино», часто подменяя психологию идеологией — тот самый случай...

Разумеется, катализатором конфликта стало и острое чувство национальности, без которого Ломоносов немислим, и желание гордиться собственным народом, и страстная (а у него все было страстным) убежденность в самобытности нашей истории. И это второй важнейший нюанс.

А 1740-е годы в России — это эпоха своеобразного «русского возрождения». Императрица, не умевшая говорить по-русски, умерла, на трон села дочка Петра Великого, ненавистный Бирон был изгнан. Оказавшись в подобных «декорациях», чаще всего начинают искать «крайних» среди иностранцев: все беды соединяются в народном сознании с чужеземным засильем. И тут уж не разбирают, кто действительно наживался на народ-

ном горе, а кто искренне этому горю сочувствовал. При императрице Елизавете Петровне к выходцам из Германии стали относиться с величайшим подозрением, а Миллер был «немцем». Одна крайность сменилась другой: «они — ненавистники и недоброты, и вот мы им сейчас покажем, кто в доме хозяин». Безусловно, это своего рода психоз. Хотя тогдашняя национальная реакция на иностранное — совершенно понятная; более того, — логически, видимо, неотменимая. Мы должны

понимать это, но должны понимать и другое — к выявлению научной истины она никакого отношения не имеет.

Ломоносов — по своей способности к великим увлечениям, по своему острому ощущению «русскости», по тому, в конце концов, что в Академии он на самом деле ощущал себя чужаком среди иностранцев, — тоже наверняка не избежал внушения времени.

Так Миллер попал в «недоброты». К слову, в то самое время, когда за границей удивлялись, отчего он так «предан выгодам России». Там на дело смотрели трезво, оценивая человека по его делам, а не через призму преувеличений, свойственных всякому национальному мифу. А между тем «недоброты» этот писал, что «из летописей составила русская история, которая так полна, что ни один народ не может похвалиться подобным сокровищем». Он же не уставал доказывать, как необходима публикация исторического труда Тагищева. А Нерчинский трактат 1689 года оттрактовал так, что приоритеты России в споре о границах с Китаем стали очевидны. Написал он и концептуальное сочинение «О предприятии войны с китайцами, и именно, о законных причинах к оной, о способах приуготовления, о действии, о пользе». Создал также: генеральную карту Сибири, почтовую карту Российской империи, карту стран между Каспийским и Черным морем. В 1730 году, когда юная Академия пришла в полный упадок, он отправился в Германию, Англию, Голландию «опровергать предосудительные слухи», дабы они не сделали Академии «бесславие в чужих государствах», а также «уговаривать новых профессоров к принятию академической службы и чинить договоры с иностранными книгопродавцами о продаже книг, иждивением академическим напечатанных». С миссией этой Миллер справился блестяще. В 1752 году в опровержение

изданных Делилем в Париже сведений о России он сочинил на французском языке «Письмо офицера российского флота» и напечатал его в Берлине (позже его перевели на английский и немецкий языки). За десятилетие, проведенное в Сибири, проехал 31362 версты («Сибирское мое путешествие, в коем я все страны сего обширного государства, в длину и в ширину, до Нерчинска и до Якутска, объездил, продолжалось почти десять лет...»). Своей кропотливой работой в архивах сибирских городов сохранил нам наше же прошлое: без него оно было бы элементарно утеряно. Заметим, что многое Миллер делал по собственной инициативе. Так, с 1771 года он начал печатать Степенную Книгу, «уговорив некоторого приятеля, чтоб он на то иждивение свое употребил, потому что ни Университет и никакой книгопродавец на своем коште издание предпринять не хотел». Вот такой «недоброты».

Когда перебираешь материалы, касающиеся Миллера, удивляешься многому.

Например, поражает почти полное отсутствие «финансовой» проблематики, столь обычной для того времени. Кто-то что-то украл; кому-то кажется, что он заслужил больше; кто-то требует увеличения жалованья. Из этой области в судьбе Миллера существует лишь два еле слышных отзвука. Один связан с невыплатой содержания за его заграничную поездку начала 1730-х годов. Оно было на словах обещано, но по возвращении у Миллера испортились отношения с Шумахером, и дело застопорилось. Миллер как-то ненастойчиво попросил все-таки возместить ему расходы, а потом махнул рукой. Второй — относится к закату жизни ученого. Чувствуя, что дней его осталось мало, и заботясь о судьбе собранной в течение жизни богатейшей кол-



ции, он через посредников предложил императрице приобрести у него библиотеку. Цены при этом не указывал. По словам осматривавшего библиотеку Миллера сенатора А. М. Обрескова, мечты ученого не простирались далее того, чтобы купить «деревенку не в весьма далеком расстоянии от Москвы около 400 душ» (и обеспечить таким образом будущее своей жены и своих детей). В конце концов указ о покупке был подписан императрицей — Миллер получал по нему за свое сокровище 20000 рублей.

О семье Миллер всегда заботился. Но при этом она, похоже, не входила в перечень главных приоритетов его жизни. Семья была для него одной из составляющих внешне необходимого «социального» образа. У чело- века традиционно должна быть семья — вот она и была у ученого. Завелась она у него, кстати, немного походя, как бы сама собой. Летом 1742 года Миллер познакомился в Верхотурье с вдовой практиковавшего здесь немецкого хирурга, незадолго перед этим умершего. Миллер уже пять лет как страдал от болезни, приступы которой время от времени сильно мучили его. Спутник Миллера Гмелин докладывал президенту Академии барону Корфу об этом недомогании: «Сия болезнь состоит в жестоком биении сердца и превеликом страхе, который по переменах приходит, а иногда три и четыре дня не перестает с таким движением пульса, что я часто обмороков опасался...» На беду в Верхотурье болезнь обострилась. Вдова трепетно ухаживала за ученым, и в конце концов он предложил ей руку и сердце. Выбирал он себе жену, как это водится между людьми его склада, исходя, вероятнее всего, из вопросов удобства. И, кажется, не «промазал». Знаменитый Шлецер, некоторое

время живший в петербургском доме Миллера, писал об этом так: «Жена его ухаживала с чрезвычайной заботливостью за Миллером, когда он сделался смертельно болен во время его путешествия по Сибири; но он женился на ней не из одной только благодарности (неплохо звучит это «не из одной только», не правда ли? — А. П.) — это была превосходная и притом скромная женщина и отличная хозяйка. Несчастье ее было то, что она была туга на одно ухо и в непогоду не могла говорить с другими без слухового рожка». Быть может, глухота жены Миллеру была даже на руку — не возникало необходимости много разговаривать с ней; во времени он всегда был стеснен. Помимо падчерицы,

историк имел троих собственных детей — ни один из них, увы, не унаследовал талантов отца...

Еще из миллеровских «необычностей». Таковой необычностью (симпатичной, надо сказать) представляется полное пренебрежение ученого к наградам — и это в век, когда погоня за чинами и деньгами считалась чуть ли не хорошим тоном. В автобиографическом «Описании моих служб» есть на сей счет прелюбопытнейший пункт: «Не поставляю себе в услугу, — пишет Миллер, — что некоторые иностранные академии и ученые сообщества вне и внутри империи меня к сочленам своим причис-



тают. Сия честь должна была бы основаться на подлинных в пользу тех сообществ изданных опытах. Но такие прочие мои должности по сие время подавать не допустили, кроме одного сочинения о рыбьем клее (!!! — А. П.), Парижскою Академиею наук от меня требуемого и печатанного на разных иностранных языках».

То есть всякая награда, по Миллеру, должна быть заслуженной, и такое отношение к зримым знакам признания (вкуче с бескорытием) совершенно не характерно для XVIII века, склонного к внешнему блеску и мишуре и не слишком щепетильного в области общественной морали.

Это, что называется, штрихи к портрету ученого и человека. Обидно, что указанные выше идеологические «недоговоренности», «домыслы» и «предположения» закрыли на долгое время от нас его истинный облик и образ ярчайшего представителя той удивительной породы людей, что нежданно-негаданно появилась на европейской исторической сцене в XVIII веке.

Это были люди дела. Пассионарии, по гумилевской терминологии. Да, многие ехали в Россию по зову

Петра, Елизаветы, Екатерины. Кто-то, заработав чины и деньги, возвращался на родину, кто-то оседал, становясь (как тот же Миллер) «Федором Ивановичем». И «русел» несомненно. Происходила определенная диффузия — природные русские, не становясь «беспочвенными», приобретали европейский лоск и европейскую образованность; бывшие чужаки, сами изменяя окружающую среду, изменялись в свою очередь ею. Но и те, и другие оставались при этом пассионариями, по высочайшей концентрации которых и узнается нами сегодня XVIII век. Их деятельность описывают четыре ключевых слова — любопытство, увлеченность,

ответственность и бесстрашие. Эти амбициозные люди в камзолах и париках (немного смешные, на сегодняшний вкус), неузнаваемо перестроив мир, заложили, по существу, фундамент современной цивилизации.

Они брались за любое дело и клали жизни свои на его выполнение. Странно, но тут иногда даже не слишком большую роль играла область приложения сил — главным было само приложение. Потом эту эпоху назовут ве-

ком Просвещения. Докажут ее историческую необходимость. Опишут достоинства и недостатки. Скажут, чего недопонимали эти люди, в чем заключалась узость их исторического кругозора. Но их «прекрасности» эта трезвая систематизация не отменит. Поэтому-то и влечет так к себе XVIII век — писателей, художников, музыкантов: это род ностальгии по абсолютно осмысленной жизни; по безусловности; по стремлению, в конце концов, к практическому результату.

И Миллер — достойнейший представитель этой общности, столь похожей на какой-то особый орден — со своими идеалами, внутренней организацией, кодексом чести. Он — миссионер просвещения. Он — универсал, в высоком понимании этого слова. Да, крупнейший ученый, историк по преимуществу. Но в историю-то Миллер пришел, страшно сказать, почти случайно. Прожив первое свое российское пятилетие, он еще не решил окончательно, чем будет заниматься. По неизбежной любви своей к книге, предполагал стать библиотекарем Академии. Должность была неплохая — тогдашний

библиотекарь Шумахер неофициально заправлял в Академии. Шумахер поначалу к Миллеру благоволил. Благоволила, кажется, и его дочь. Так созрел немудреный, однако рациональный план: сначала попасть в зятя к Шумахеру, а потом уже — и на его должность. Судьба распорядилась иначе. По возвращении из заграникомандировки в 1731 году Миллер нашел (до сих пор не совсем понятно, почему это случилось) в бывшем благодетеле врага. Столь надежный план будущей жизни рассыпался на глазах. Вот тут и возникло внезапное решение: «Я счел нужным проложить другой ученый путь, — вспоминал Миллер, — это была русская история, которую я вознамерился не только сам прилежно изучать, но и сделать известною другим в сочинениях по лучшим источникам. Смелое предприятие!»

Действительно, смелое. Не зная еще русского языка, не имея даже элементарных навыков исторического анализа, — и броситься в «чужое» как в омут головой. Миллер бросился. Это было в его характере. Это было в характере членов его «ордена». Он увидел перед собой паханое поле и пошел его пахать. Поначалу не очень получалось. Забавный факт из серии «Первый блин комом». В 1732 году Миллер затеял издавать ставшее впоследствии знаменитым периодическое «Собрание русской истории». Начал, как и полагается, ab ovo — с «Повести временных лет». По плохому тогда еще знанию русского языка «Повесть временных лет черноризца Феодосьева монастыря Печерского» превратилась у него в «древнюю рукопись, содержащую русскую историю игумена Феодосия Киевского». Ошибка, будучи перепечатанной, расплзлась. Так молодой Миллер ввел в обиход фантастического историка Феодосия, позже оказавшегося легендарным Нестором. По этому поводу ему пришлось не раз раздраженно объясняться.

Но уже лет через двадцать такие ошибки в его деятельности были немислимы. Опыта он набирался стремительно. Был ненасытен — в своем научном размахе. Брался за все подряд. Планировал написать историю калмыков. Анализировал феномен казачества. «Ни в какой другой стране нельзя с такими удобствами писать историю восточных народов», — восторженно отмечал Миллер. И писал. Просвещал. Тут ведь главное было — просвещать...

При этом эволюция историка очевидна. Если в первых выпусках того же «Собрания русской истории» (равно как и в других проектах той поры) Миллер ограничивается исключительно задачей трансляции неизвестного науке материала на западную аудиторию, то постепенно эта ориентация претерпевает изменения. На протяжении своей жизни Миллер дрейфует в определенном направлении — от западного читателя к читателю русскому. «Страна обитания» становится «родной страной». Чего стоит только предпринятое

им в 1755 году издание первого русского научного и литературного журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие». Слог-то какой! Вот такое у него выходило просвещение. А ведь, пожалуй, без него, без этого просвещения, были бы невозможны ни Новиков, ни Державин, ни поразительный взлет русской культуры в первой трети XIX века.

Миллер постоянно взыскует нового.

И когда возникла реальная возможность поехать в Сибирь, он тут же бросил все и поехал. Гмелин, первоначально назначенный Академией во Вторую Камчатскую экспедицию, заболел. Миллеру предложили заменить его — он с радостью согласился. Перспектива работать с живым материалом, а не с рассказами посредников, увлекла его. Потом Гмелин выздоровел, и они отправились в путешествие вместе. Кажется, «господа профессора» об этой «совместности» не жалели.

Их путешествие по Сибири — во всяком случае, поначалу, в первые годы, — это какой-то дрянный захлеб, без передышки научный пир. «Мы приехали в страны, — с пафосом писал Миллер, — от природы пред многими местами превосходства одаренные, где почти все новое нам являлось. Там увидели мы с радостью множество трав, от большей части неизвестных; увидели стада зверей азиатических, самых редких; увидели великое число древних могил, в коих находили разные достопамятные вещи, — словом, приехали в такие страны, в каких никто до нас не был, который бы мог свету сообщить известия». Это неожиданное «приземление» в места заповедные, где еще не ступала нога культурного человека, сравнимо по потрясению, я думаю, с триумфами XX века — выходом человека в космос и полетами на Луну. Оно, это потрясение, слышится в сибирских текстах и Гмелина, и Стеллера, и нашего героя. Там вести себя приходилось, как на войне, — «по обстановке». Система научного поиска рождалась, что называется, «на колесах». Первое научное крещение Миллер получил в Тобольске, где для него распахнулись все двери. Он даже немного растерялся: «Но сознаюсь притом, что я еще не очень знал все, что мне следовало требовать или о чем спрашивать... Здесь я положил начало осмотра сибирских архивов...» Уже в Таре появляется предварительный вопросник. Этот вопросник постепенно модернизируется и уточняется. «Вопросные мои пункты были тогда не столь генеральные, как оные потом от меня в других городах задаваны были. В таких случаях опыт есть наилучший учитель». А опыта Миллер никогда не бежал. Наоборот, к нему стремился.

Разумеется, не все в Сибири случалось столь гладко. Были трудности и невзгоды, было противодействие того же иркутского губернатора, были стычки с руководителем экспедиции Берингом (окончившиеся тем, что Гмелин и Миллер не захотели ехать на Камчатку),

были усталость, «привышая» новизна, болезни... Особенно тяжело пришлось, когда ученые поняли, что их путешествие превращается в неволю. Они просились обратно в Петербург, их не пускали. В письмах радость понемногу уступает место грусти: «Путешествие с трудными поездками в такой земле, — горько замечает Миллер, — должно по собственной охоте и от доброй воли с саможелаемым усердием без всякого принуждения быть; а ежели того нет, то и наукам надежды не будет. Печаль день ото дня прибывает, а с нею уныние с расслаблением час от часу натуральным образом и так умножаются, что их, без надежды скорого возвращения, ничем прогнать и излечить не возможно...»

Но сам объем сделанного учеными в Сибири доказывает, что уныния было все-таки меньше, чем плодотворной работы — работы страстной, до самозабвения. И не уныние играло первую скрипку в этом путешествии — даже и в его финале. Да и к позднейшей оценке, данной самим Миллером этой поездке, стоит прислушаться: «Никогда потом, — писал он, — не имел я повода раскаиваться в моей решимости».

Однажды он сказал А. Ф. Бюшингу: «Вы знаете мой нрав, что если я предался какому-нибудь делу, то предался ему совершенно». Суцая правда. Отметим в этой фразе слово «какому-нибудь». Тут нет определенности. Миллер мог делать все. Ответственно и увлеченно. Он (это, впрочем, характеристика самого человеческого типа, о котором сказано выше) и вообще был настоящим «человеком-оркестром», заменяя порой собою целые канцелярии. Так случилось в 1755 году при издании уже упомянутых «Ежемесячных сочинений». Как вспоминал Миллер, «определено было, чтоб все члены Академии в

оных трудились, издавая по очереди каждый по одному месяцу, под моим надзиранием, но, выключая весьма малое число чужих сочинений, все сделал я один». Так случилось в 1762 году, когда ему одному поручили дирекцию над делами географического департамента при Академии, ибо «определенные при оном вместо того, чтоб соединенными силами трудиться к общей пользе, один другому токмо всякие препятствия делают». Так случилось в конце 1760-х годов, когда Миллер оказался у руля Московского архива.

Кстати, переезд в Москву Миллер воспринял как благо. Он означал для него возвращение с «войны» (так он называл подкованные склоки в Академии) в мирную и спокойную жизнь, полную трудов (далее просится пушкинское «и сладких нег», но эта строка — не из миллеровской истории).

Есть несколько констант, то и дело появляющихся в публичных и частных текстах Миллера. Это «польза», «служба», «благосостояние государства». Ну вот хотя бы: «Перевод немецкого Вейсманнова лексикона на российский язык учинен моим попечением, коим однакож больше засвидетельствуется охота моя к услужению обществу, нежели потребное на то дело искусство...» Если упомянутые константы соединить в некий образ, то этот образ наиболее адекватно выразит кредо всей жизни выдающегося ученого. И так сформулированное кредо уже не оставит лазеек для двусмысленных интерпретаций.

Миллер прожил долгую жизнь. Свою автобиографию «Описание моих служб», написанную в 1775 году, в семидесятилетнем возрасте, он начинает с меланхолической фразы: «Из всех находившихся со мной при начальном заведении Академии членов никого, кроме

господина профессора Бернулли в Базеле, в живых не находится». Но в этом замечании меньше всего усталого вздоха старого человека, пережившего своих современников. Кажется, Миллер не знал, что такое старость — с ее болезнями, неподвижностью, отсутствием будущего, непониманием настоящего, застылой приверженностью к прошлому, с ее бессилием и брюзжанием. Но и обратное верно — старость не знала, кто такой Миллер. Она словно не дерзала даже приближаться к нему. Он и на восьмом десятке оставался жаден до работы, легок на подъем, внутренне собран и устремлен. В письме Миллера, датированном 1778 годом (автору — 73 года), читаем: «Я все еще довольно свеж и способен к работе, однакож начинаю страдать одышкою, против

которой должна помочь перемена воздуха и движение. Дай Бог! Попробуем». И попробовал. Отправился составлять описание городов Московской губернии. Проехал Коломну, Сергиев Посад, Дмитров, Александров, Переславль-Залесский, Вязьму, Можайск, Борисов, Рузу, Звенигород... Не забудем, что дороги и скорость передвижения в те времена были иные, нежели сейчас.

Миллеру оставалось жизни пять лет.

Он сделал фантастически много. Настолько много, что до сих пор не все его наследие изучено. В Российском государственном архиве древних актов есть фонд с необычным названием «Портфели Г. Ф. Миллера». Это часть того самого миллеровского собрания, которое у него купила Екатерина Великая за 20000 рублей. В 1899 году Н. В. Голицын опубликовал книгу, посвященную судьбе этих «портфелей». В этой же работе предлагался опыт описания этих материалов. Говорилось о «покрове таинственности», окружающем «портфели Миллера». Этот покров, писал Голицын, «заставляет одних строить нередко преувеличенные предположения о богатстве их содержания, а размеры и разнообразие накопленного в них материала отвращают других от ближайшего с ними ознакомления громадностью труда, который следовало бы приложить к такому делу». Между тем, по прошествии ста с лишним лет после выхода книжки Голицына обозначенный покров таинственности не исчез: до сих пор в ходу легенды и предания о сокровищах, хранящихся в «портфелях». Кто-то якобы встретил там надпись, скопированную с могильной плиты Андрея Рублева, другой — ни много ни мало — список «Слова о полку Игореве».

А рассеять «туман» пока до конца не получается. Существуют объективные трудности в работе с этим блоком миллеровского наследия. «Портфели» — это, по сути, архив в архиве, они содержат сотни тысяч листов рукописей на русском, немецком, латинском, древне-

еврейском, монгольском и ряде других европейских и восточных языков. Знание в совершенстве этих языков не гарантирует, что исследователь сможет прочитать рукопись или хотя бы понять в общем виде ее содержание. Достаточно сказать, что способных разобрать немецкую скоропись самого Миллера, изобилующую сокращениями и элементами стенографии, можно пересчитать по пальцам.

Будем надеяться, что все эти трудности преодолимы. Тут ведь надо одно — соответствовать предмету своего исследования. То есть заразиться тем самым «неутоми-



Лист из «Чертежной книги Сибири» С. Ремезова

мым рвением» Миллера, так часто поминаемым теми, кто близко знал ученого. Голицын писал в 1899 году: «Разрешить загадку («Портфелей» — А. П.) — такова задача, необходимость выполнения которой давно назрела». Повторим за ним эту фразу и мы. Повторим с надеждой. Потому что решение этой задачи будет необходимой данью памяти Миллера. А он ею всегда был обделен. Обделен совершенно незаслуженно.

В статье использованы иллюстрации из книги Семивского Н. «Новейшая любопытная и достоверная повествования о Восточной Сибири, из чего многое донныне не было всем известно. Спб. 1817

